

КН. МАРИЯ ФОН ТУРН-УНД-ТАКСИС-ГОГЕНЛОЕ



ЛУ АНДРЕАС-САЛОМЕ



# ДВА ЛИКА РИЛЬКЕ



Лу Саломе  
**Два лика Рильке**

«Водолей»

1932, 1928

УДК 84 (4Ге)  
ББК 821.161.1

## **Саломе Л.**

Два лика Рильке / Л. Саломе — «Водолей», 1932, 1928

ISBN 978-5-91763-273-5

В книге представлены два главных мемуарных источника о жизни и творческих странствиях великого германского (а в сегодняшней оптике - и всеевропейского) поэта Райнера Мария Рильке (1875-1926). Воспоминания аристократки кн. Марии фон Турн-унд-Таксис и самой знаменитой интеллектуалки Европы начала XX века Лу Андреас-Саломе публикуются на русском языке впервые. В подробном, информационно насыщенном послесловии переводчик (осуществивший в 2012-2013 гг. проект «Малое собрание сочинений Р.-М. Рильке в семи книгах», отмеченный Бажовской литературной премией) показывает бытийный и философский контекст судьбы поэта в его непрерывных поисках «живой человечности». В формате a4.pdf сохранен издательский макет.

УДК 84 (4Ге)  
ББК 821.161.1

ISBN 978-5-91763-273-5

© Саломе Л., 1932, 1928  
© Водолей, 1932, 1928

## Содержание

Воспоминания о Райнере Мария Рильке	10
Конец ознакомительного фрагмента.	23



**Два лика Рильке**  
***(Составитель Николай Болдырев)***

© Н. Болдырев, перевод, послесловие 2015

© Издательство «Водолей», оформление, 2015

\*\*\*



Княгиня Мария фон Турн-унд-Таксис, урожденная принцесса Гогенлоэ-Вальденбург-Шиллингсфюрст (1855–1934) – представительница одной из знатнейших австро-итальянских фамилий, мать троих сыновей, меценатка и меломанка, объединила вокруг себя немало выдающихся людей из разных сфер культуры, успешно пробовала себя в жанре перевода: перевела на итальянский ряд стихотворений Рильке, на французский – две книги философа

Рудольфа Касснера («Дилетантизм» и «Элементы человеческого величия»), на немецкий – ряд сонетов Петрарки. Познакомилась с Рильке по собственной инициативе в декабре 1909 года в Париже. Затем, весной 1910 года, познакомила Рильке с Касснером, что стало началом выдающейся дружбы. Касснер вспоминал: «Мария фон Турн-унд-Таксис... была прежде всего, что называется, гранд-дамой, была ею в самом высоком смысле этого слова, воздействуя на всех, кто с ней сблизился, именно таким образом... Будучи австрийской подданной, она родилась в Венеции, которая тогда еще принадлежала Австрии. Этот факт и далее годы юности, проведенные в Дуино, Заградо и в Тоскании, тесная связь через мать из рода делла Торре, давшего Аквилее ее патриархов, а Милану ряд герцогов, с двором графа фон Шамбор, а также связь с Римом Пия IX, через своего дядю, кардинала Гогенлое, больше повлияли на ее внутренне существо, нежели поздняя Вена или “богемские леса”, как она любила выражаться. Италия была для нее не предметом страстного томления и бегств, как это обычно у немцев, а воспоминанием...»

Самым частым местом встреч Рильке и княгини, поверенной многих его тайн и секретов (два тома их переписки уникальны для биографов поэта), были, помимо ее возлюбленной Венеции, два ее родовых семейных замка – Дуино на Адриатике (неподалеку от Триеста) и замок Лаучин в Богемии.

Книга ее воспоминаний о Р.-М. Рильке – одна из лирически искреннейших в мемуарной литературе о поэте, чем вызвала в свое время лестный отзыв Марины Цветаевой. А один из лучших германских биографов Рильке Ганс Хольтхузен назвал труд княгини «умной и благородной книгой воспоминаний, одной из самых прекрасных, которые когда-либо выходили».



Лу Андреас-Саломе (1861–1937) – известная при жизни писательница (роман «В борьбе за Бога», повести «Рут», «Феничка», «Необузданность», «Родинка», сборники рассказов «Дети человеческие», «Переходный возраст», «Час без Бога»), интеллектуалка («Женские образы Генрика Ибсена», «Эротика», «Нарциссизм как двунаправленность»), сотрудница Зигмунда Фрейда. Родилась в Санкт-Петербурге, в семье генерала (Густава фон Саломе) на службе его величества, до восемнадцати лет жила в России. В юности, проведенной в городах Германии,

Австрии и Италии, жила столь яркой, интеллектуально насыщенной и эксцентричной жизнью, что привлекла внимание ряда известных поэтов и философов, тем более, что была незаурядно привлекательна внешне. Фридрих Ницше дважды делал ей предложение руки и сердца, общение с Лу, несомненно, повлияло на его творчество, в частности, дав толчок и вдохновение для книги «Так говорил Заратустра». В 1887 году вышла замуж за языковеда-ираниста Фридриха Андреаса. Рильке познакомился с ней в 1897 году, и вскоре она стала главной женщиной его судьбы. Важнейшая в его творческой судьбе книга «Часослов» посвящена ей.

Можно смело сказать, что Лу Саломе потрясла мужской мир. Вот лишь два отзыва. К. Вольф: «Ни одна женщина за последние сто пятьдесят лет не имела более сильного влияния на страны, говорящие по-немецки, чем Лу фон Саломе из Петербурга». П. Гаст: «Она действительно гений. В ее характере есть нечто героическое. Гений духа и сердца... Чудеснейшее великолепие ее души книги ее передают лишь отчасти».

## Воспоминания о Райнере Мария Рильке

*«Чтобы однажды, на исходе скорби познания,  
осиянность и славу воспеть ангелов, столь благодатных...»<sup>1</sup>*

### I

В июне 1922 года я оправилась в Сьерру, чтобы отыскать Райнера Мария Рильке, который жил в Мюзоте и хотел прочесть мне *Элегии*, начатые в 1912 году в Дуино и завершённые только спустя десять долгих лет. Почему я не сумела уже в то время понять, что передо мной человек, приносимый в смертную жертву?..

Видела ли я когда-нибудь более сиятельный лик, слышала ли более блаженную речь? Казалось, он разрешил загадку жизни; радостям и страданиям, счастьем и несчастьем, жизни и смерти, всему-всему он одобрительно откликнулся, всё принимая и постигая с неописуемым ликованием. И наблюдая за ним и слушая его, я была глубоко взволнована, видя это лицо, обычно исполненное бесконечной меланхолии, столь внезапно просветленным.

Мне следовало тогда понять: он достиг вершины, взобрался на высочайший пик и увидел лик Божий – и вот теперь ему предстояла только смерть. И поскольку смерть пришла и забрала несравненного поэта, моего дорогого верного друга, я хочу оставить о нем воспоминания, они мне очень дороги и, надеюсь, они станут таковыми и для тех, кто знал и любил этого ни на кого не похожего, столь рано ушедшего от нас человека. В моих записных книжках немало заметок, сделанных по-немецки, но большей частью по-французски, иногда в один и тот же день. Постараюсь воспроизвести их в том виде, в каком они были написаны и начну с нашей первой встречи в декабре 1909 года в Париже.

Разумеется, мне было известно немалое число его публикаций, и я уже многое о нем слышала от д-ра Рудольфа Касснера, нашего общего друга. Однажды вечером в Вене Кайнц прочел вслух его стихи, которые произвели на меня глубокое впечатление. Знала я и то, что Рильке жил в Париже и даже то, что был увлечен графиней де Ноай, которую увидел как-то мельком в ателье у Родена.

Вот несколько строк, которые я набросала вскоре после нашей первой встречи:

Провела в Париже четырнадцать дней и навестила графиню де Ноай. «Скажите, – спросила она меня внезапно, – кто такой Райнер Мария Рильке?» «Райнер Мария Рильке? – отвечала я. – Но ведь это же один из выдающихся поэтов Германии!» «В самом деле? – спросила она, живо заинтересовавшись. – Видимо, он действительно поэт, поскольку, представьте себе, мне приходят от него совершенно невероятные письма». (Я засмеялась, она тоже). «Собственно, я бы охотно с ним познакомилась. Вы-то его знаете, не правда ли? Не могли бы Вы это устроить?» «Я знаю его, не будучи с ним знакома. Но мы это исправим. Загляните ко мне на чашечку чая, и Вы встретите там вашего поэта». Вот тогда-то я и написала впервые Райнеру Мария Рильке и получила от него первое, очень любезное письмо, в котором он принял мое приглашение. В письме я упомянула, что ожидаю в этот день визита мадам де Ноай. Поэт пришел минута в минуту, то был понедельник, 13 декабря 1909 года. Я была приятно поражена, но одновременно и слегка разочарована, ибо представляла его совершенно другим – не этим юным человеком, выглядевшим почти ребенком; в первое мгновение он показался мне очень некрасивым, но одновременно и очень симпатичным. Чрезвычайно застенчивым, но с

---

<sup>1</sup> Начальные строки десятой Дуинской элегии Рильке. (Здесь и далее примечания – переводчика).

прекрасными манерами и редкой благородной изысканностью. Почти сразу мы стали беседовать как старые добрые друзья. Он как раз только что закончил «Записки Мальте Лауриде Бригге».<sup>2</sup> Он говорил о нем – и это необычайно меня тронуло – как о живом существе, а не как о книге. Он еще полностью был ею захвачен: «Мне кажется, я сказал в ней всё: больше мне сказать нечего, вообще нечего...» – повторял он печально. Я не могла тогда верно понять смысла этих его слов, поскольку еще не была знакома с этим его, насыщенным страдательностью, произведением.

Конечно же, мадам де Ноай заставила себя ждать, но вот наконец отворилась дверь, и на пороге явилось «маленькое неистовое божество» (как позднее имел обыкновение называть ее Рильке). То была эпоха громадных шляп и длинных, очень узких платьев. Большая, темная, украшенная перьями шляпа едва прошла сквозь дверь. Графиня, зашнурованная сверху донизу, была, пожалуй, похожа на египетскую статуэтку. Однако наш поэт, я думаю, созерцал лишь ее огромные черные властные очи. Она сделала от порога шаг, остановилась и воскликнула: «Господин Рильке, что Вы называете любовью, что Вы думаете о смерти?»

Мне доставило немало труда сохранить серьезность; Рильке же, со своей стороны, вначале растерялся и онемел. Однако всё это длилось лишь мгновение, и вскоре мы уже дружно сидели возле камина. Госпожа де Ноай, уже снова абсолютно естественная и как всегда обворожительная, вполне поняла (и я это тотчас почувствовала), какой уникальный человек ей встретился. Я же с огромным интересом наблюдала за беседой двух поэтов, тотчас прорвавшихся к сердцевине вопросов и понимавших друг друга с полунамека. Сверх того было очень интересно наблюдать германца и представительницу романского этноса. Принадлежа обеим расам, я заметила, как в один из моментов они не поняли друг друга. Как же им стало весело, когда я вернула их на правильный путь. Весьма примечательной была жалоба мадам де Ноай на то, как порой тяжело бывает справляться с формальным сопротивлением стиха, какие временами огромное напряжение для этого требуется. Рильке в непонимающем изумлении смотрел на нее своими огромными глазами. «Неужели Вы не находите, что порой с этим бывает ужасно трудно?» – спрашивала она снова и снова. «Да нет же, совсем нет...» Казалось, что он этого не понимает. Думаю, что мадам де Ноай восприняла этот его ответ не вполне всерьез. Лишь узнав позднее Рильке лучше, я поняла, насколько искренне он ей отвечал. Ибо он не написал, пожалуй, ни единой строки без наития, инспирации и глубокой внутренней потребности. В этом состоянии он не мог контролировать себя и чаще всего едва ли знал сам, как появлялись записи в его маленькой записной книжке, которую он всегда носил при себе. Он часто мне ее показывал, и каждый раз я изумлялась, рассматривая ясный и чистый почерк почти без единой правки.

Записную книжку он всегда носил в кармане глухого, вплоть до шеи жилета, – впрочем, этот жилет был единственной странностью, которую он себе одно время позволял. Обычно же его одежда при всей ее простоте была безукоризненно корректна.

Когда мадам де Ноай покинула нас, мы еще долго оставались вдвоем, Рильке еще всецело пребывал под тем мощным впечатлением, которое пережил. И все же эта встреча имела почти комический результат. Поэта обуял безграничный страх перед возможным влиянием на него мадам де Ноай. После этой первой встречи, столь много ему давшей, он написал молодой женщине письмо, в котором сообщил, что никогда больше не рискнет приблизиться к ней. «Вы же понимаете, – сказал он мне, – если я позволю себе видеться с ней чаще, это приведет к крушению моего Я, я превращусь в ее раба и буду жить *только ее* жизнью...» А мадам де Ноай говорила мне полушутливо, полусердито: «О, ваш поэт весьма любезен: он пишет мне лишь затем, чтобы сообщить, что не желает меня больше видеть». Я же уверяла ее, что это как раз означает ту высшую похвалу и то признание, которые Рильке только и мог ей выказать...

---

<sup>2</sup> Роман, самое крупное прозаическое сочинение поэта.

Вскоре после этого он прислал мне эссе об этом опасном существе – «Книги одной любящей», текст, который я считаю одной из изысканнейших его работ. Уехала я спустя два или три дня; но прежде чем вернуться в Богемию, задержалась на некоторое время в Вене. Туда Рильке и прислал маленькую книжицу-блокнот, в которой я и нашла это эссе; со временем к нему были добавлены несколько неопубликованных его стихотворений. Я храню это как бесценное сокровище.

Так вот и началась наша переписка, которой суждено было длиться семнадцать лет без перерыва. У меня сжимается сердце, когда вспоминаю, с какой радостью я каждый раз созерцала его тонкий почерк, в котором столь отчетливо являло себя чувство красоты и гармонии, никогда его не покидавшее. Я никогда не встречала почерка даже похожего на этот.<sup>3</sup> Тем сильнее было мое изумление, когда в одном труде по искусству пятнадцатого века я увидела почерк Рафаэля, чистая красота и совершенство которого мне очень напомнили почерк нашего друга.

## II

1910-й год принес нам большую радость: мы смогли принять Рильке у себя. В одном из первых своих писем я рассказала ему о нашем Дуино, ставшим потом для него столь значимым местом. «Ваш замок у моря, – писал он мне в ответ, – представляется мне стоящим на побережье, похожем на то, что в Виареджо: в былые годы я туда частенько сбегал, многое из «Часослова» родилось там, и мне кажется, я частенько задумывался: но ведь должен же где-то быть замок... И вот, раз уж он есть, то скорее всего окажется именно таким, какой я всегда искал».

И он не был разочарован, хотя наши суровые адриатические скалы не имели ни малейшего сходства с цветущим средиземноморьем.

Вскоре после этого он дал о себе знать и 20 апреля прибыл. В гостях у меня были тайный советник Боден с дочерью и Рудольф Касснер, после обеда мы поехали в Чивидале посмотреть лонгобардскую церковку. Когда мы возвратились, Рильке уже несколько часов как был в Дуино. Я приготовила для нашего гостя комнату, где редко кто жил, она показалась мне словно бы созданной для него. Угловая, с окнами на три стороны и узкой потайной лестницей, выводящей к часовне. Потолок был украшен тонкой венецианской лепниной. Несмотря на три окна, помещение было довольно сумрачным, наполненным какой-то изначально тревожной атмосферой, на что мне часто жаловалась одна из моих сестер. Но Рильке комната понравилась, и он был в ней счастлив в особенности из-за той громадной тишины, которая его там окружала; у него не было соседей, поскольку по одну сторону находилась замковая капелла, а по другую, занимающую всю ширину замка, была трапезная, чей длинный каменный балкон смотрел на открытое море. Слева от наших скал находились Триест, Мирамаре<sup>4</sup> и Истрийские горы.

Я огорчилась, что пропустила прибытие Рильке, однако он признался, что ему было очень приятно побыть первые часы одному, потому что неопишуемая красота Дуино столь грандиозна, что он просто нуждался в одиночестве, чтобы прийти в себя. И что он простоял бы почти весь этот сияющий весенний вечер на балконе, вдыхая аромат бесчисленных ирисов и соли, идущей от волн, теряясь взором в лазурной голубизне моря и неба, совершенно погруженный в одинокое созерцание.

Последующие прожитые нами дни были незабываемы. Чем больше времени проводила я с поэтом, которого лишь недавно узнала в Париже, тем больше чувствовала на себе воздействие его неповторимого обаяния. И что меня глубоко трогало, так это та радость, которую он излучал по поводу нашего соприсутствия, и его благодарность, хотя я и в самом деле не находила для нее никакой причины. Ведь это мы, и только мы, должны были быть ему благо-

---

<sup>3</sup> Почерк Рильке необыкновенно похож на почерк Лу Андреас-Саломе, о чем подробнее в нашем послесловии.

<sup>4</sup> Знаменитый замок.

дарны ото всего сердца; уже за одно только его бытие. Рильке обладал почти неправдоподобной скромностью. Я редко встречала что-либо похожее. Однако это касалось только человека в нем, которого он весьма строго отличал от поэта. Для поэта же не было более высокого судьи, нежели он сам: аплодисменты или критика оставляли его совершенно равнодушным. Он знал, что изнутри него говорил голос, которому он обязан был следовать. Этому ему было довольно. Но рядом с этим гордым доверием себе, никогда его не покидавшим, я очень часто все же чувствовала в нем ребенка. Восхитительного ребенка, немного потерянного в этом громадном мире, намного больше близкого земле и звездам, чем людям, которых он, казалось, инстинктивно опасался; ребенка, столь преданного таинственным феноменам Ночи, равно как и возвышенным визиям, что наконец услышавшего и Ангелов, что одевают «ликованием и славой».

Но между тем сколь суров был тот путь, что вел к «исходу скорбных прозрений»! Если бы только я могла уберечь его ото всего горького и печального в его жизни! Впрочем, думаю, поэт сразу же почувствовал ту большую симпатию, которая меня к нему привязала; он знал, что мог на нее положиться. «Но ведь сейчас-то всё хорошо, пока-то ведь всё хорошо», – повторял он снова и снова. В нашей встрече было нечто странное и, как он часто говорил, нечто магическое, в этой нашей удивительной и абсолютно непредсказуемой встрече, которая вела его к тому месту, где должен был раскрыться прекраснейший цветок его духа.

У подножия Дуинского замка есть одна весьма причудливая скала, уходящая в море. В народе ее называли, да и сегодня еще называют «il sasso di Dante».<sup>5</sup> Рассказывают, что великий гибеллин побывал в Дуино, когда навещал Pagano della Torre, аквилейского патриарха.<sup>6</sup> Говорят, что позднее кайзер Фридрих III, которому тогда принадлежал замок, увенчивал здесь двух поэтов. Дуино был Рильке предопределен...

Среди моих, к сожалению слишком скудных, заметок нахожу несколько строк о поездке в Каподистрию, восхитительный городок на истрийском побережье, воспроизвожу их слово в слово. «... Прогулка в Каподистрию. Габриэла и я с д-ром Касснером и Рильке. Очень веселый завтрак в маленькой траттории, где Рильке, бывший все время, начиная с прибытия, довольно молчаливым, внезапно начал говорить своим мягким, слегка напевно-певучим голосом. Он рассказывал о России; это было очень волнующе – слушать его описания волжских одиночеств, когда день за днем он плыл на судне вниз по течению реки, и вот посреди меланхолии безмерно широких равнин перед ним внезапно вставал громадный лес, «вставал как Ночь». Потом: его общение с русскими крестьянами, впечатление от них, их библейское величие, их фатализм, печаль их песен, крестьянский поэт, захотевший сфотографироваться с Рильке, древняя старуха, благодарившая Бога, что перед смертью ей довелось принять гостя; и более молодая, еще привлекательная крестьянка в одном заброшенном степном селенье, где он провел ночь, возле двери своей одинокой избы поведавшая ему всю свою жизнь с такой абсолютной простотой и величием, что поэт почувствовал ее равной себе и разговаривал с этой незнакомой женщиной, которую видел впервые в жизни и которую, вероятнее всего, никогда больше не увидит, так, как не разговаривал никогда ни с кем прежде...

Чем больше я наблюдаю Рильке, тем более сильную чувствую к нему симпатию, которая, надеюсь, взаимна.

На первый взгляд он кажется некрасивым, маленьким, тщедушным, хотя и с хорошей фигурой. Удлиненная голова с большим носом и полными, очень подвижными губами, подчеркнутыми слегка скошенным подбородком с глубокой ямочкой. Однако к этому – прекраснейшие голубые глаза, глаза женщины, в которых под кустистыми ресницами неожиданно

---

<sup>5</sup> Скала Данте (*ит.*).

<sup>6</sup> Речь идет, вероятно, о Пагано Первом из рода делла Торре (фон Турн), исполнявшем обязанности аквилейского патриарха в 1319–1332 годах и умершем в 1341 году.

вспыхивает радостная и детская проказливость, когда он смеется, показывая ослепительно белые зубы».<sup>7</sup>

Драгоценные часы этого первого общения в Дуино протекали в неомрачаемой гармонии. Мне казалось, что когда-то раньше мы уже с ним были знакомы, между нами не было ничего чужого/чуждого – до единственного: до той магии, которую я ни в ком другом не находила столь мощной и столь интенсивной.

Однако я чувствовала и то, что он приоткрывает мне эти врата... Тогда он думал о том, не написать ли книгу о Карло Дзэно,<sup>8</sup> великом адмирале, чья жизнь была столь насыщена фатальными событиями. Он попросился с нами 27-го, чтобы после этой слишком быстро промелькнувшей недели в Дуино поработать в венецианских архивах, а потом вернуться в Париж.

«Car la parole est toujours réprimée quand le sujet surmonte le disant (François I dans son sonnet sur Laure de Sad)».<sup>9</sup> Этими словами начиналось его первое письмо из Венеции; он восторженно писал о днях, проведенных с нами, не забывая при этом о Карло Дзэно. А вот последующие письма из Парижа были печальными. В одном из них он заговорил о том, о чем я сообщила ему за два или три дня до его отъезда: мне приснилась одна давно умершая женщина, единственное на свете существо, которому я могла бы откровенно поведать о всей моей жизни. Много лет спустя – в Рагаце, где мы виделись с ним в последний раз – мы снова вернулись к этому сну. И я узнала, что Рильке ребенком бывал (вместе со своей матерью) у этой женщины, у той, которая мне явилась во сне. Когда М. склонилась над ним и стала гладить его по волосам своими большими прекрасными руками, мальчик пережил неопишимо странное ощущение счастья и покоя, не покидавшее его еще много дней. Он никогда не забывал ее. Это далекое воспоминание подарило Рильке большую радость, ибо позволило ему верить, что уже в те времена, когда я ничегошеньки о нем не знала, между мною и им уже существовали таинственные связи.

В этот раз в Париже Рильке чувствовал себя не очень хорошо; я телеграфировала ему о том, чтобы он ехал ко мне в Богемию; желание у него было, однако его здоровье, постоянно подверженное рискам, затягивало отъезд. Лишь в середине августа он все же прибыл, к нашей великой радости. Наш маленький Марктфлекен,<sup>10</sup> тогда это была еще большая деревня на окраине обширных сосновых, дубовых и березовых лесов, он видел не впервые. Немало людей приезжали каждое лето из Праги в Лаучин (Loucen) из-за его здорового, целебного воздуха, вот и родители Рильке отправили однажды туда своего сына на два месяца. Его семьи я тогда не знала, и к тому же была в отъезде. В то время ему было, должно быть, пятнадцать или шестнадцать лет. Могла ли я себе представить, что бледный юноша, прибывший на лечение в Лаучин с больной тетей и с нежно любимым кроликом, однажды станет великим поэтом и одним из моих лучших друзей? О трагикомических эпизодах своей жизни Рильке часто рассказывал мне в той бесконечно проказливой, искрящейся юмором манере, которая, весьма контрастируя с его обычной меланхолией, никогда его не покидала в тех случаях, когда он вел речь о своих так называемых «незадачах». В ту пору он пребывал в состоянии борьбы с

---

<sup>7</sup> Любопытно сравнить восприятие внешности поэта княгиней с первым впечатлением от Рильке Рудольфа Касснера, случившимся несколько месяцев спустя: «Вошел хрупкий человек, по-мальчишески узкий в плечах, слегка устремленный вперед, ступавший быстрыми, легкими шагами. Тихий, чистый взор его глаз голубейшей голубишной своей сразу взял меня в плен и прочно удерживал до тех пор, покуда мне не бросился в глаза большой, бесформенный, вялый, словно поношенный рот с двумя длинными ленточками усов, опускавшихся от его уголков. <...> Но из этого рта, пройдя сквозь эти губы, явился богатый, сочный, звучный голос, не имеющий в себе ничего мальчишеского или незрелого. Всё его существо излучало чистосердечие без малейших следов кокетства, суетности или смущенности...» И далее: «... Мне тогда бросилось в глаза также, что он никогда не давал воли телу, чувствам, “изломам”...»

<sup>8</sup> Венецианский полководец и адмирал (1334–1418).

<sup>9</sup> Ибо слово всегда подвержено давлению, если предмет превосходит говоримое (Франсуа Первый в своем сонете к Лауре де Сад) (фр.).

<sup>10</sup> Marktflecken – букв.: торговое село (нем.).

родителями, которые, окончательно забрав его из злополучной кадетской школы, были категорически против его учебы в вузе. Приехав в Лаучин, он однажды увидел моего постоянно чем-то занятого мужа, имевшего репутацию «благодетеля края», и это-то как раз и побудило Рильке явиться к нему за помощью и поддержкой. Итак, он пришел в замок, где со страхом и надеждой вручил князю свои стихи – я даже думаю, что некоторые из них он прочел князю вслух. Тот, разумеется, выслушал его столь же благосклонно, сколь и рассеянно, и молодой человек откланялся, заверив, что готов явиться снова, чтобы продолжить читать стихи, если это потребуется. Загруженный делами и в постоянных разъездах, мой муж совершенно забыл о робкой просьбе юного поэта.

Между тем любимый кролик подхватил дифтерит, и Рильке, оставаясь возле ворчливой тети и больного кролика, страстно ожидал приглашения, которое не приходило. Тетка ставила кролику вместо холодных компрессов теплые, из-за чего возникало немало забавных недоразумений. Кролик умер, и каникулы закончились.

Хотя слушать этот рилькевский рассказ было смешно до слез, все же каждый раз, думая об этом бедном, одиноко ждущем мальчугане, я чувствовала сердечную боль.

Об этом августовском его пребывании у нас я не нашла заметок, однако помню, что его образ становился для всех и в особенности для моего мужа все симпатичнее. Частенько мы совершали вылазки в наши леса, столь им любимые. Вспоминается, как однажды во время одной из таких прогулок я испытала сильный страх, все еще помню то место в лесу, повыше главной аллеи, возле мрачных сосен. Рильке начал там внезапно говорить о «Мальте Лауридс Бригге», о невозможности написать после «Мальте» что-то еще, о жутком ощущении, что творчество его исчерпано, что он сказал уже всё... короче, он заявил, что хочет покончить с поэзией и стать врачом! У меня перехватило дыхание, и я запротестовала самым решительным образом. Эта его идея не могла прийти к нему из сердечных глубин – так я вскоре успокоила себя; однако я впервые ощутила дыхание тех ужасных его приступов глубокой меланхолии и уныния, которые принимали порой весьма причудливые формы. Впрочем, казалось, что он был сконфужен моим ужасом и больше об этом не заговаривал. Тогда как раз вышла в свет книга Рудольфа Касснера «Дилетантизм», и мы читали ее с Рильке в изумленном восхищении.

Перед отъездом поэт доверил мне свои планы на зиму. Он собирался в дальнее путешествие, думая о Константинополе. Я выразила большое желание видеть его у нас на Рождество, однако он надеялся встретиться со мной осенью в Париже, хотя из этого потом ничего не вышло, несмотря на живейший мой интерес.

Он еще раз вернулся к «Мальте»: «Мне немного не по себе, когда думаю о насилии, учиненном в *Мальте Лауридс*, когда мы пребывали с ним в постоянном отчаянии вплоть до того, что оказались позади всего, в известной мере в послесмертьи, так что ничего уже не было возможно, даже умирание. Я думаю, такое отчетливее всего являет себя именно тогда, когда искусство идет против природы, становясь самой страстной инверсией мира, возвратом из той бесконечности, навстречу которой идут все честные вещи; именно так видишь их в целостном их образе, их черты близятся, их движение обрастает подробностями... Всё так, но кто же тот, для кого это становится возможным, кто идет в этом направлении супротив их всех, идет этим вечным возвратом, в котором скрыт обман, внушающий верить, что где-то уже пришли, к какому-то финалу, к возврату отдохновения?»

В этом письме, полученном мною в Дуино, кроме того шла речь о моем маленьком будуаре с видом на Адриатику, столь любимом Рильке: «...Это ваше маленькое королевство наверху, этот столь обжитой, столь насыщенный воспоминаниями мир с окном во всю ширь-мощь; в его обстановке есть некая завершенность, подпускающая близь вплотную, чтобы даль оставалась с собою наедине. Эта малость значит многое, ведь бесконечность становится благодаря ей особенно чистой, свободной от значений, некой совершенной глубиной, неистощимым запасом душевно плодотворного промежутка...»

Зимой Рильке предпринял большое путешествие, так что долгое время мы мало слышали друг о друге. Он побывал в Африке, начав с Алжира, планируя закончить путешествие Египтом. Ни Касснер, ни я не были довольны его отсутствием; во-первых, потому, естественно, что нас печалила его удаленность от нас, затем также и потому, что это путешествие, насколько это стало известно Касснеру, вовлекло Рильке в череду печальных происшествий, нанесших вред его здоровью и его утомленным нервам.

Лишь в середине февраля получила я подробное письмо из Хелуана. Он бежал туда из Каира после почти трехнедельной болезни, надеясь в конце марта вернуться в Европу. Он спрашивал меня, не слишком ли поздно будет для Дуино, ибо он очень хотел поскорее увидеться со мной, поскольку «у него было так много на сердце» такого, что он хотел поведать именно мне. В начале апреля я прибыла в Венецию; он был очень усталым и разочарованным. Однако многого о своем путешествии он не успел мне тогда рассказать, потому что мы пробыли в Венеции недолго. Нахожу дневниковую запись от 3 апреля: «Галерея Кверино Стампалия, с Рильке». Тогда-то мне и привелось впервые пережить одно из странных происшествий, где я сильнее, чем это бывало обычно, ощутила атмосферу «магического», окружавшую поэта. Было ли то «четвертое измерение»? Приоткрывал ли он мне туда «врата»? Едва ли я сумею описать это совершенно особое переживание...

Последующие заметки так рассказывают об этом: «Хочу записать одно маленькое происшествие, оставившее во мне глубокий след. Однажды прекрасным утром мы отправились в галерею Стампалия и в Санта-Мария Формоза.<sup>11</sup> Я знала, что Санта-Мария Формоза находится недалеко от Сан-Заккария, а та должна быть совсем рядом с Рива деи Скьявони. Итак, вначале на *Vaporetto*<sup>12</sup> (ах, гондол становится все меньше!), а потом в путь! Щуплый, услужливый старичок, жаривший отличные каштаны, указал нам, в какую сторону нужно идти, «а потом – прямо!» Конечно же, следовало избрать противоположное направление – и вот мы уже блуждаем в лабиринтах улочек, переулков, мостов и *Sottoportici*<sup>13</sup>; какой позор для меня, венецианки! А потом вдруг мы оказываемся в очень странном, совершенно незнакомом месте... Длинная улица (совсем не то, что в Венеции называют «Calle») с маленькими фонтанами на том и другом концах, с очень высокими огромными домами по обеим сторонам, – угрюмые, без каких-либо украшений дома, без орнаментальных гримас и тех ажурных окон, которые можно видеть в беднейших венецианских кварталах, и молчание – кажущееся пришедшим из минувших эпох, молчание, оттенявшееся пронзительным звуком флейты, непрерывно игравшей странную восточную мелодию. Мы стояли, испытывая одинаковое чувство жуткой подавленности, рассматривая выбитую брусчатку, между камнями которой росла трава (трава в Венеции!), запертые, безмолвные, обездоленные дома, зарешеченные окна, в которых не показывался никто, безлюдную улицу. Вдаль и вширь не было ни звука кроме странно и монотонно издающей жалобу флейты... Напрасно мы искали название улицы, хотя обычно они всегда наготове; я думаю, нам никогда уже не найти этого уголка, не услышать вновь той маленькой флейты, чья тягучая восточная песня кротко вибрировала по пустым улицам».

Мы часто вспоминали с ним тот случай. Рильке всегда оставался при мнении, что сколько бы мы ни искали, снова найти ту удивительную улочку нам не удастся.

Шестого апреля я вернулась в Вену, а Рильке поехал в Париж. Однако последствия злосчастного африканского путешествия сделались еще заметнее, препятствуя, как он писал, серьезной работе. И все же письма его оставались поистине несравненными. Он опубликовал две работы, которые, казалось, вновь выводили его на путь, на тот единственный, кото-

---

<sup>11</sup> Церковь в Венеции, построенная в 1492 году в честь Девы Марии, где Рильке часто бывал; он упоминает о ней в первой Дуинской элегии.

<sup>12</sup> Речной катерок, лагунный трамвайчик (*ит.*).

<sup>13</sup> Портиков (*ит.*).

рый только и мог его удовлетворить; речь идет о переводах «Кентавра» Мориса де Герена и «Любови Магдалены» Сермона. В одном из майских писем он писал: «По вечерам читаю письма Эжени де Герен; сколько трогательного в том, что свою жизнь, которая могла продолжать течь тихо и бессобытийно, она посвятила своему брату, чтобы для него, даже в этом замечательном городе пребывавшего в одиночестве, всегда горел этот маленький внутренний свет, вечная лампа перед смутным образом его души, в которой часто невозможно было ничего разглядеть».

В том году одна книга особо глубоко подействовала на него. То было выдающееся произведение, которое Рильке считал лучшей работой Касснера, – «Составляющие человеческого величия». Совершенно захваченный ею, он бродил с экземпляром только что вышедшей книги по Люксембургскому саду, вновь и вновь перечитывая ее от начала до конца.

Среди прочего он писал мне об этом так: «Разве этот человек, говорю я себе, не есть, быть может, самый значительный среди всех нас, пишущих и говорящих, не есть тот, кто подошел к самым чистым источникам, кто еще и сейчас надежно светит рядом с фальшивыми вождениями и смешениями, из которых мы вновь и вновь извлекаем фиктивные силы, истощающие нас».

В то время Рильке вновь увиделся со знаменитым русским танцовщиком Нижинским, который произвел на него сильное впечатление. Он подробно написал мне о балете «Le Spectre de la Rose»<sup>14</sup>, которым я восхищалась в Вене, и у него возникла мысль создать для Нижинского композицию в стихах, быть может даже целую пьесу, о которой он мне как-то раз собирался было уже рассказать и «которая бы мне очень понравилась». Жаль, что в этом восторженном письме Рильке ничего больше об этом не поведал, самой же мне, к сожалению, нечего больше вспомнить. Впрочем, этот его план был реализован столь же мало, как и намерение отправиться в августе в Версаль, чтобы встретиться там с Нижинским, с его импресарио, с несколькими друзьями, а также с Д'Аннунцио. Не думаю, чтобы Рильке когда-либо познакомился с Д'Аннунцио.

Тем летом я торжественно объявила, к величайшему удовольствию Рильке, что хочу найти для него особое имя, которым называла бы его только я. Я объяснила ему, что «Райнер Мария Рильке» слишком длинно, «Рильке» слишком коротко и ни в коем случае не есть его истинное имя, а «Райнер-Мария» недостаточно уважительно, нереспектабельно. Как он смеялся над этими моими объяснениями, над моим «респектом» и моими затруднениями! Тем не менее ему продолжало быть любопытно, что же я измыслю. «Новое имя! Подумайте, княгиня, ведь это же может стать чем-то чрезвычайным, и вполне возможно, что оно-то и есть мое настоящее имя – то таинственное имя, что принадлежит именно мне...»

«Doctor Seraphicus!»<sup>15</sup> Это пришло мне в голову абсолютно неожиданно, словно бы мне его шепнули, хотя сама я не знала, откуда это слово явилось, я повторила его механически много раз, спрашивая себя, действительно ли это неожиданное имя есть имя истинное, и собиралась даже продолжить поиски. И все же какая поразительно пророческая то была интуиция! Я это постигла всей глубиной сердца, когда наконец-то час наступил, час его второй Элегии, чудесной *ангельской* элегии!

23 июля Serafico, как я теперь постоянно называла Рильке, прибыл в Лаучин. Лето выдалось великолепное. Почти все дни мы проводили на воздухе в парке на траве возле голубого павильона, названного так из-за находившегося там китайского и дельфтского фарфора, столь любимого поэтом. То были чудесные часы солнечного послеполуденья, когда Рильке читал что-нибудь вслух моей кухне Таксис, урожденной Меттерних, и мне. Только нам двоим, ибо

---

<sup>14</sup> «Призрак Розы» (*фр.*).

<sup>15</sup> Серафический доктор (*лат.*), латино-католическое поименование уровня святости, почетный титул святого Бонавентуры и Фомы Аквинского (13 век); эпитет, синонимичный другому: *doctor angelicus* – ангелический доктор.

я позаботилась о том, чтобы у нас гостили лишь те, кто способен его ценить и понимать, тем более что известность Рильке тогда еще не была такой, какой она стала потом (становясь всё большей). Вспоминаю, что даже много позднее, во время мучительной военной зимы в Вене, где собирался очень узкий круг людей с весьма серьезными умственными запросами, меня часто просили принести стихи Рильке и «объяснить» их... В те летние дни в Лаучине я впервые услышала из его уст три стихотворения: «Юная девушка», «Возвращение Юдифи» и «Наброски к Святому Георгию». Два из них до тех пор публиковались лишь в журнале «Il Varetto» в моем переводе на итальянский. Рильке читал в весьма характерной манере, всегда стоя, бесконечно гибким, играющим модуляциями голосом, порой возраставшим в мощи чрезвычайно, в своеобразном поющем тоне с весьма подчеркнутым ритмом. Было в этом что-то совершенно необычное, что вначале отчуждало, но затем все же чудесным образом захватывало. Я никогда не слышала, чтобы стихи читали так торжественно и одновременно так просто, так что можно было слушать не уставая. Поражали необычайно длинные паузы: вот он медленно склоняет голову с опущенными, тяжелыми веками – и становится слышно тишину, похожую на паузы в сонате Бетховена: «Пантера», «Заклинание змеями», «Парки», какое наслаждение!..<sup>16</sup> Три прежде названных стихотворения Рильке вписал в мою маленькую книжицу, в которой до тех пор находилось лишь эссе о мадам де Ноай. Позднее к этому добавились и иные сокровища.

Кроме моих двоюродных Таксисов, были у нас и иные гости: Карло Плаччи, professor of enjoiment,<sup>17</sup> как я его называла, потом один очень одаренный молодой английский архитектор и кое-кто еще. Между всеми нами царило отличное взаимопонимание, как вдруг молнией среди ясного неба эта чудесная гармония была разрушена: внезапно заболел мой маленький внук Раймонд – скарлатина, как сообщил врач. Гости вынуждены были разъехаться, и мы с мужем остались одни, чтобы ухаживать за бедным малышом. И я никогда не забуду трогательной заботы Рильке во время этой короткой болезни и его радостного отъезда после выздоровления ребенка. Рильке всегда говорил, что это единственный ребенок, которого он в состоянии понимать. Он очень любил его; то было большим исключением, ибо его отношение к детям было странным. По сути дела этих отношений и не было, он не знал, что им сказать, должен ли он принимать их всерьез или не всерьез. Дети же, напротив, очень любили его; для них было счастьем, едва он входил. Я часто смеялась, видя, с каким смущением и недоверчивостью обводил он изумленным взглядом все это веселое маленькое общество. Зато он обладал чрезвычайно ловкостью в изыскании игрушек, впрочем, большей частью совершенно простых, однако вызывавших у детей восторг. Так однажды он принес маленькому Раймонду после его выздоровления восхитительный старинный фонтан. Раймонд не играл больше ни с чем другим; настоящая вода непрерывно текла в маленький бассейн, поднималась и падала. Раймонд воспринимал это как что-то чрезвычайно сказочное.

<sup>16</sup> Ср. с рассказом Касснера, где он сравнивает, как читали свои стихи Гуго фон Гофмансталь, Стефан Георге и Рильке: «Гофмансталь читал прекрасно, читал выразительно до жеманства, Георге бормотал перед собой стихи сухими губами словно пастор священный текст, сакральную формулу. Тем самым всё актерское, всё обольщающее заявляло о себе как неблагое, чуждое, принадлежное злополучному и одновременно пошлему миру. Опасность исходит здесь из скуки либо заключается в том, что ложное становится скучным. Когда же Рильке выстреливал стихотворение из своего рта, открывавшегося словно отверстие тубы, – это было истинное извержение, самоосвобождение от чего-то, похожее на выплескивание, – он передавал процесс вдохновения, наития. Он транслировал его, изливал, выдувал то, что шло сквозь него, будучи в него влито. Так читал он нам двоим, княгине и мне, весной 1912 года в Дуино две первые Дуинские элегии. Я никогда не слышал стихов, произносимых более истинно. Бесформенность рта становилась в это время формой, полной осмысленности, разверстостью именно тубы, личности ради чистого голоса. Не нужно, чтобы поэт произносил свои стихи как священник или жрец, ибо он не жрец. Что поэт – жрец, такое говорилось в девятнадцатом веке ради красного словца, ради того, чтобы сказать что-то необычное, поражающее воображение, что-то, во что никто не обязан был верить. А в нашей сегодняшней бедственности нам дозволяется, мы, собственно, принуждены к этому, – вещи, которые должны пребывать разделенными, оставлять отделенными и давать фору лишь тому, что ладит с целым. А иначе как могли бы мы настаивать на порядке, на ранге!..»

<sup>17</sup> Профессор удовольствий (англ.).

К сожалению, Рильке не смог побыть у нас дольше, его позвал в Лейпциг издатель. А поскольку и Раймонд должен был возвратиться к своим родителям, мы решили организовать большую поездку, попросив Рильке доставить мальчика в Лейпциг, совершив перед этим короткую остановку в Веймаре. Но было заключено еще и другое важное соглашение в связи с тем, что у нас вызывала озабоченность растущая нервозность Рильке. Он был обеспокоен своим ближайшим будущим и не знал, где проведет осень и зиму, так как должен был съехать со своей квартиры (в том же доме, где жил Роден, в непосредственной близости с его любимым Люксембургским садом). У него не было ни малейшего желания возвращаться в Париж и искать там новую квартиру. Он мечтал прежде всего о покое, одиночестве, морском воздухе, думая о Биаррице, не зная о нем ничего определенного. Короче, он пребывал в полной нерешительности, в глубокой подавленности и без всякого плана действий. И тогда мне внезапно пришла мысль о Дуино, о нашем «замке у моря», стоявшем зимами совершенно пустым. Дуино! Никогда не забуду его бурную радость, когда я изложила ему это предложение. И мы договорились, что после моего возвращения из Англии, где я собиралась навестить друзей, встретимся в Париже и оттуда отправимся автомобилем к нашим скалам. Осень я планировала провести в Дуино и Венеции, чтобы потом отправиться зимовать в Вену. Рильке хотел остаться в Дуино в полнейшем одиночестве, лишь под попечительством нашей экономки мисс Гринхэйм и верного старого Карло, дуинезца чистой воды, состоявшего у нас на службе с детских лет. К этому плану был добавлен еще один и не менее прекрасный: избрать дорогу через Прованс – мое долго вынашиваемое желание. А вместе с Рильке – да это же просто мечта!

Итак, 20 августа мы отправились в путь. Мой муж, показывавший на скачках в Магдебурге нескольких своих лошадей, должен был встретить нас в Лейпциге. Это был восхитительный день, промытый солнечным светом, вся долина утопала в золоте. «*Midi roi des étés...*»<sup>18</sup> Прекрасные леса на границе с Саксонией – никогда не забуду, как Рильке во время одного из привалов под высокими дубами прочел вслух свое чудесное стихотворение о борьбе с ангелом. Он любил дать прозвучать своим стихам в местах, которые были их достойны. Не было у меня путешествий, которыми бы я наслаждалась больше, нежели когда имела счастье странствовать с Рильке. Не только потому, что он всё видел и подмечал, но он воспринимал всё иначе, по-другому, чем обычные люди. От этого захватывало дух, ты не знал, что больше его изумит – созерцание вещи или проникновение в ее сердцевину, «*a glass that shows us many more*». <sup>19</sup>

При этом всегда было ощущение тайны, но присутствовал и юмор, никогда его не покидавший и часто являвший себя тогда, когда этого от него меньше всего ожидали. После короткой остановки в Лейпциге мы направились в Наумбург. Поэт был в величайшем восхищении от чудесных зеленых окон собора, с огромным интересом осматривал он и его художественные сокровища. Во всех храмах, которые мы посещали, он непременно изучал надписи на надгробных плитах, особенно если под ними были рано почившие. Какой глубокий и таинственный смысл являли даже самые простые эпитафии, если их читал он! Вспоминаю один рельеф, если не ошибаюсь, на галерее крестового хода собора – совсем юный рыцарь в полном облачении, чей силуэт был нежен и грациозен, а фигура тонкой, словно девичья. Рильке долго не мог оторваться от этого рельефа. Сильное впечатление произвела на него и эпитафия одному шведскому пажу, павшему на стороне Густава Адольфа.

С удовольствием вспоминаю часы, проведенные в Веймаре, и прежде всего одно комичное, довольно необычное приключение, которое весьма развлекло поэта. Наша первая экскурсия из отеля – мы выбрали отель «Слоны», поскольку он показался нам соответствующим стилю старого Веймара – была, конечно, в дом Гёте; оттуда мы намеревались сразу посетить его беседку. Рильке неосторожно заявил, что знает туда дорогу, и вот мы, мимо очаровательного

---

<sup>18</sup> Полдень, король лета... (*фр.*).

<sup>19</sup> В зеркало, которое показывает нам много больше (*англ.*).

дома госпожи фон Штайн, пошли за ним через громадный парк. Внезапно погода резко испортилась, поднялся сильный порывистый ветер, деревья, сбившиеся в темные стаи, мощно сотрясаемые бурей, выглядели невероятно, подобно одичало-героическим ландшафтам Рейсдаля, черным теням в слабом свете, небо покрылось несущимися над нашими головами гигантскими ключьями облаков. И вот уже вокруг нас стал уплотняться белый туман, затопивший траву и скрывший тропинки, – Serafico смущенно признался, что он уже больше не ориентируется. Между тем в тумане наконец показалась призрачная статуя, позволившая ему после многих ошибочных кружений определиться. И вот мы увидели возле откоса у края парка размытые очертания домика, однако, когда мы подошли к калитке, нам никто не открыл, потому что звонок не работал. Serafico, становившийся всё более обеспокоенным, предположил, что мы обречены на то, чтобы вечно блуждать в этом абсолютно безлюдном лабиринте. Но все же наконец неподалеку от нас вынырнули три фигуры. Он кинулся к ним, чтобы спросить, как пройти в город, так как внезапно начавшийся ливень побуждал нас повернуть назад. Вернулся он совершенно озадаченный. «Мне кажется, нас заколдовали, – прокричал он, – я обратился к одному из этой троицы, надеясь поговорить с настоящим веймарцем, но... увидел желтое лицо и раскосые глаза. Я обратился ко второму – он был таким же желтым и таким же безмолвным. Я подошел к третьему – он тоже оказался натуральнейшим японцем. Он-то и показал мне направление. – Но что здесь, в Веймаре, нужно японцам? И почему внезапно объявились именно они, единственные живые существа в этом тумане, в этом парке, где деревья выглядят столь призрачно и где стоит одна-единственная таинственная статуя?»

Я попыталась найти этому объяснение. Принялась уверять нашего поэта, что мы по ошибке оказались в чужом сне, в сне, который происходит не в нашей жизни, а, скажем, в сневидении какого-нибудь самурая, лежащего в глубоком забытии где-нибудь в Йокохама. Рильке рассмеялся, однако воспротивился этому, находя, что дальневосточный сон в Веймаре стилистически несообразен. Визит в маленькую антикварную лавку навел нас на иные мысли. Я обнаружила там прелестную миниатюру королевы Марии, дочери Людовика, чтимой Гёте. Serafico настаивал на том, что миниатюра эта принадлежала именно Гёте. Сам же он купил маленькую книгу, которой была уготована привилегированная судьба. То была книжечка 1801 года в очаровательном бирюзовом переплете с изящным, в стиле Луи XVI, орнаментом, содержание которой было вполне нейтральным, однако позднее в ней обнаружится упрятанный там один из ценнейших манускриптов.

Примечательно вот что: при первой встрече в Лау-чине мы часто спорили с ним о Гёте, которого я любила с детства. Serafico же не хотел о нем и слышать, даже утверждал, что совсем его не читал, да и не хотел читать. Эта странная антипатия мучила меня, однако, когда я увидела с ним позднее, ситуация изменилась. Рильке рассказал, что совершенно случайно прочел его письма к графине Штольберг и был так ими захвачен, так ими восхищен, что взял назад всё сказанное прежде. Он принялся за чтение Гёте с пылом и страстью, начиная всерьез в него влюбляться.

Но вскоре пробил час прощания. Рильке хотелось остаться еще на несколько дней, я же отправлялась дальше через Кассель, Франкфурт, Люксембург в Париж.

Тогда-то он услышал об исчезновении Моны Лизы, о чем сильно горевал. Весьма характерно, как он это прокомментировал: Мальте Лауридс, для которого она, если память ему не изменяет, являла собой неопишуемую реальность, вполне возможно заключил бы из этого происшествия (если бы еще сумел его пережить), что ему следует умереть, столь мощно она была явлена ему во всей своей очевидной тайне, сравнимой с его собственным существованием. Впрочем, он всегда преувеличивал.

Из Лондона я оповестила Рильке, что в начале октября вернусь в Париж, после чего мы могли бы начать наше путешествие по Провансу в Италию. Однако во всех письмах поэта звучала унылая жалоба на состояние здоровья. Иногда я спрашиваю себя, не была ли эта дряща-

яся усталость и слабость, эти постоянно взвинченные нервы – странным противоречием чему была его внешность, необычайная юношеская свежесть, которую он сохранял вплоть до конца – не было ли всё это уже первым нераспознанным симптомом той страшной болезни, которой суждено было забрать его у нас?

Однако вернусь к одному его письму той осени, к одному месту этого письма, особенно меня заинтересовавшему: «С тех пор Марта пишет мне лишь такое: «J'oserais presque ne pas vous écrire, si cela pouvait vous faire revenir plus vite».<sup>20</sup> Когда читаешь такое, на душе начинают кошки скрести, а с другой стороны в сердце просыпается (телесно, но не только) тоска по просторам, по лесам, по одиночеству и притом такая, какую я едва ли когда до сих пор испытывал».

Марта! Это имя появилось в его письмах впервые, хотя Рильке уже часто о ней рассказывал. Эта совсем юная девушка была ему ближе, чем всякая иная женщина. Он снова и снова мечтал о Марте, встречаясь с ней вновь и вновь, непрерывно открывая в ней новые достоинства, объясняя и анализируя их с полной изумленностью и глубоким восхищением. Позднее в Дуино он показал мне однажды письмо, только что им полученное – очень короткое, немного застенчивое и бесконечно нежное. Самое прекрасное любовное письмо поэту из всех, мною когда-либо читанных. К сожалению, это чудесное письмо пропало вместе с тем ящиком рукописей, писем, заметок и набросков, который исчез в 1914 году в Париже.<sup>21</sup> Рильке был безутешен.

Он был очень обеспокоен будущим Марты. Он доверил девушку одной даме, которая выразила желание заботиться о ней, однако не смогла с ней справиться. Поэта весьма это опечалило: «Госпожа В. весьма успешно разыгрывала ученицу волшебника, но когда позволила этому фантастически раскованному ребенку взять над собой верх, то тотчас же отправила ее прочь. – Мне ли теперь ее укрощать, возвращая в обитель сердца? Есть слово, которого я не знаю, его мне может подарить лишь случай, бедному Dottore Serafico, ах, никогда еще, никогда не был он меньшим магистром...»

В том же письме Рильке писал: «Ничто не постигается мною в жизни богов (в духовной сфере это, конечно, возобновляется вновь и вновь, разыгрываясь с полной правотой) столь ясно, как тот момент, когда они уклоняются от нас; да и чем бы был бог вне облака, которое его бережет, чем был бы используемый Бог?»

Сколь сильно он сам был причастен к этому божественному духовному миру, будучи при этом скромнейшим Serafico, который, сам не ведая о том, мог дышать лишь в этом царстве...

Более чем прежде он задумывался о Дуино; ему хотелось там укрыться, он набрасывал тысячи планов на то время, которое мы смогли бы провести там вместе. Среди прочего он хотел вместе со мной осуществить перевод «Vita nuova»,<sup>22</sup> что привело меня почти в онемение: вместе со мной! Когда он заговорил об этом впервые, я приняла было это за шутку, однако он был очень серьезен, добавив, что убежден в том, что я уже мысленно проделала эту работу. Вероятно, так он подумал потому, что знал: еще в детстве именно Данте я изучила в подробностях. Моя мать, необыкновенно и утонченно образованная женщина, выросшая в Венеции в атмосфере художественно рафинированной, и нас тоже воспитывала в атмосфере красоты, преисполненной всем итальянским. Она писала прелестные стихи, и у меня сохранился маленький томик, изданный ею для друзей. Некоторые стихи были опубликованы в сборниках для детей, в литературных альманахах и т. п. Это она научила меня складывать буквы, а потом и читать великих итальянских классиков. Вскоре после смерти моего отца к нам стал приходить аббат из триестской гимназии, бывший страстным филологом. Я все еще слышу, как по вечерам он в восходящих и нисходящих ритмах декламирует на дуинской террасе «Илиаду»: о, как

---

<sup>20</sup> Я пожалуй решила бы не писать вам, если бы это помогло побудить вас быстрее возвратиться (*фр.*).

<sup>21</sup> Позднее, через много лет, этот сундук найден.

<sup>22</sup> «Новая жизнь» (*ит.*) Данте.

наслаждалась я звучанием великолепного незнакомого языка! Он обратил внимание на мою хорошую память и языковые способности. Среди прочего мы прочли «Divina Commedia»,<sup>23</sup> и я выучила ее почти всю наизусть. Всё это и навело Рильке на его идею. Дожидаясь в Мюнхене отъезда, он углубился в изучение Египта, после чего хотел заняться медициной, а потом еще даже и выучиться верховой езде. Я была в ужасе, но не успела я прийти в себя от всех этих его научных и спортивных планов, как ему пришла мысль по пути в Дуино наскоро посетить Толедо. Он изнывал от желания увидеть Толедо, увидеть Эль Греко. По сути крюк-то ведь был бы небольшим, тем более, что его мечта о Толедо была совершенно особой, ни на что не похожей!

На всякий случай он попросил меня возвращаться как можно скорее. Думаю, что я действительно сократила свое пребывание в Англии, чтобы, как я ему несколько невежливо написала, распутать клубок его замыслов. Ибо фараоны и египетские династии, медицина и обучение верховой езде, Толедо и Эль Греко (о Марте и о «Vita nuova» я уж молчала) – какой кавардак планов, какая путаная программа!

Однако, приехав в Париж, я не успела ничего распутать, ибо хотя я и застала моего Serafico, уверявшего, что он страстно меня ждал, но сама получила там несколько писем, требовавших безотлагательного моего отъезда в Вену. Мы были в отчаянии, однако я постаралась обернуть ситуацию к лучшему. Мне нужно было немедленно уезжать, однако автомобиль я оставила Рильке, чтобы не разочаровывать его и чтобы он мог совершить путешествие в Дуино через Прованс и Северную Италию и тем самым увидеть нашу мечту осуществленной. Она доставила ему много радости – эта поездка длиною в несколько летних дней, с нашим бравым шофером Пьеро, словно улитка двигавшимся вперед. Так что утомительным это не было, и без всяких происшествий Рильке прибыл в Дуино, где находился мой старший сын. Да и я уже тоже была там.

---

<sup>23</sup> «Божественную комедию» (ит.).

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.